

ЛЕВ ЛИБОЛЕВ

КЛЮЧИ ОТ ВСЕХ ДОМОВ, КОТОРЫЕ ОСТАВИЛ

МОРФЕЙ ИЮЛЯ

Всё чаще днём желается прилечь,
Морфей июля вновь коснулся плеч,
диван зовёт – по возрасту потеха.
Реальность подменяя сном дневным,
является безвестный аноним,
похожий на вернувшееся эхо

досужих, подсознательных обид –
никто по нам, хорошим, не скорбит,
а совесть анонимна и незрима.
Ночами плохо спится, а с утра
мы курим, кофе пьём, Et Cetera,
и зеркалу являемся без грима.

Кошмар и ужас, лето на носу,
и каждый мыслит – сам себя несу,
поддерживаю, пестую, лелею.
Набор лекарств похож на карту вин,
а выросший давно из сына свин
привёл очередную Лорелею.

Поди усни под их переполох,
ведь раньше ты и сам бывал неплох
в делах амурных, было, чем гордиться.
Но совесть-аноним предъявит счёт –
у сына в жилах кровь твоя течёт,
а кровь, как всем известно, не водица.

Ты радуешься подвигам его,
девица, неземное существо,
звезда, шалунья, что ж – привет, Вертинский!
Пора вздремнуть, знаток июльских фей –
нашпёптывает истово Морфей –
ложись и спи, во сне подушку тискай.

Мы снами окорачиваем дни,
нас много, только мы всегда одни,
а общество себе подобных мнимо,
как следствие бессонницы ночной,
когда кричишь душе – побудь со мной,
побудь хотя бы в роли анонима.

Но нет, как нет, душа уязвлена
коротким сном, и в том твоя вина,
остался лишь малюсенький резонанс –
ещё уснём навечно, и тогда
привидятся бессонные года
и сладость упорительных бессонниц.

ШЕКСПИР И ШИЛЛЕР, И ДЮМА

Не Англия, но чем-то схожа с ней,
не внешне, только внутренне. Прикину,
что их роднит... Но разница сильней,
как будто воробей клюёт мякину,
себя позволив ловко провести.
Шотландский скотч, баварские сосиски –
что может их роднить? Как травести,
на эту роль попробуй, наприсись-ка,
напялив килт цветастый вместо шорт
из кожи – не признают и свои же.
Увидят, скажут – этот малый жжёт,
нет правды на земле, но нет и выше.
И ты стоишь, чужой, что здесь, что там,
пытаясь докопаться – в чём же схожесть,
стараясь всё расставить по местам,
от их несовместимости скукожась.
И вдруг – дошло! Под вечер – полутьмой,
безлюдностью они похожи очень,
все улицы, кварталы, боже мой,
ты, видно ими слишком озабочен.
Уютом их, игрушечностью их,
ухоженностью их домов тенистых.
Любой из них – почти библейский стих,
но числится зачем-то в атеистах,
пускай и не воинствующих, нет.
Европа спит, наевшись до отвала
всего, что предлагает интернет,
храпит во сне, посапывает вяло.
Тут спят Шекспир и Шиллер, и Дюма,
не знающие страха и упрёка,
и окнами уютные дома
с утра на мир посматривают строго.
Здесь царствует всё тот же самый быт,
как будто звук плетей и зуботычин,
и каждый лут июньским ветром взбит,
и каждый шриффт неясен и готичен.
А женщины – хоть воду пей с лица,
одна полна, другая, как былинка.
На каждом поле каждая овца
похожа на бродячую волянку.
И всё-таки мы все чужие здесь,
прижившиеся частью еле-еле,
а в каждом встречном чудится Дантес,
что в Пушкина стреляет на дуэли.

УТРАТА

И не надо читать Овидия и Сократа –
не библейское это дело, и значит, чтоб
осознать на деле, как страшно звучит – утрата,
нужно просто вытерпеть и пережить потоп.
Загребать на лодке, в горсти зажимая эго,
там по пояс, а тут по плечи, куда пойдёшь?
Всё, что можно – бить кулаком по стене ковчега,
продираясь молча сквозь панику и галдёж.
Что там греки, римляне, этого не воротишь,
раскисают книги, забытые под водой,
а вот в Библии что-то было про Ноя, вроде ж –
сам читал, когда был наивный и молодой.
Там по паре каждой почти утонувшей твари,
а с другими как же – с детишками да скотом?
С пианино старым, со скрипочкой Страдивари,
да с концертным фраком, прикупленным «на потом»?
С огородом, садом, со всем, что тебе земное,
что водой покрылось и молча ушло на дно,
попрощайся, это утрата, спроси у Ноя,
он ответит просто – нам выбора не дано.
Потому что вольные воды зашлись напевом
о делах, которые некогда были здесь,
о другом потопе, случившемся в сорок первом
под приказ главкома и взорванный Днепрогэс.
Этот слаб, ни с тем не сравнить его, ни с библейским,
ни к чему Овидий, не нужен тебе Сократ,
города уходят под воду теперь не с блеском,
а рутинно как-то, так многие говорят.
На ковчеге столпотворение, музыкантам
не до скрипок и пианино – все мысли вплавь.
Ной молчит, он в кителе, брючины с алым кантом,
коль повышен в звании, значит, будь добр, возглавь.
Он глядит в оркестр – там ни выдоха нет, ни хрипа –
на патроны медь, духовые в расход пошли,
там, где нет воды – без воды подыхает рыба,
там, где нет земли, никому не найти земли.
Не идёт Спаситель, спасателям нет учёта,
кто живое спас, тот и грех замолил уже.
Где Сократ с Овидием? Им написать бы что-то
про утраты, что поспособствовали душе.
Им сравнить бы этот и прошлый с библейским что ли,
повторится всё, не забудется ни о ком,
и пора бы всяким искателям лучшей доли,
научиться тихо идти по воде пешком.
Ной молчит, считая – уж лучше вода, чем пламя,
что уже погибло, тому не бывать мертвей,
и вода стоит над разбитыми куполами,
над крестами всех погребённых под ней церковей.

ЛЬВЫ С НЕВЫ

Потом к тебе приходят львы с Невы –
привет от «африканца» Гумилёва,
он прошлое, мы с ним теперь на Вы,
на «ты» – нельзя, осталось только слово.

Из тех июней, где ни школ, ни парт –
каникулы, веселье и безделье!
Равнял нам кости век-остеопат,
а мы его терпели еле-еле.
По тридцать мамам, «с хвостиком» – отцам,
в программе Гумилёв, но без расстрела,
что хочешь знать, того добейся сам,
в умах разнообразие пестрело –
ах, сколько флагов, час на сбычу мечт,
из всех религий – опиум народу.
Но как же нас роднил «не мир, но меч»,
слова, преобразованные в оду
партийным боссам, бонзам и вождям.
На львов охота – хлопотное дельце.
их в Питере расставишь, ну, а там,
на слово Гумилёва не надейся –
расстрелянных обратно не вернёшь,
хотя напоминают неустанно,
что в каждом слове спрятан «в сердце нож»,
и реквием не зря писала Анна.
Каникулы, июнь, у невых львов
который век оскаленные морды –
им видится убитый Гумилёв,
до наших дней не выпедший из моды.
Отцам за сорок, меньше матерям,
ахматовское сумрачное, вдовье.
Засилье слов, словесный стыд и срам,
беззвучье птиц, покинувших гнездовье.
В нём всё, что ты когда-то не прочёл,
скучая, плечи острые сутуля...
И только жуткий запах мёртвых пчёл
плывёт из поэтического улья.

НИКАКОЙ ЭКЗОТИКИ

Человек человеку не волк,
но и братом не станет, я думаю.
Время лечит от разных тревог,
по годам разметав суету мою.
Вдоль вокзалов, железных дорог
однопутными бьёт перегонами –
делай выбор – вот бог, вот порог.
Акты делаются подзаконными,
проходя через каждый перрон –
акт о встрече и акт о прощании.
Будто прения разных сторон
и оргвыводы, часто – неожиданные.
Было всяко – и волки в степи,
и какие-то люди, но люди ли?
Были те, кто срывались с цепи,
кто злословили да рукоблудили.
Жизнь пугала то солнцем, то льдом,
то безветрием, то непогодами –
вот войной изувеченный дом,
вот квартиры, что стали негодными
для житья, для ночлега хотя б.
Оставляли, прощались и ехали.
Время быстро меняло масштаб,
что запомнилось – голос ли, эхо ли

той эпохи, забытой давно?
Жизнь сильна подзаконными актами.
Вот и женщина смотрит в окно,
подпирая плечами покатыми
нашу память и то, что за ней –
поколения и поколения.
И фантомные боли сильней –
тут и мёртвые, тут же и пленные,
и пропавшие без вести тут.
И живые, конечно, а всё-таки
солнце выжжет, ветра заметут –
ничего, никакой здесь экзотики.
Только женщина, медленный жест –
крест кладёт вслед любим проезжающим.
И улыбка – блаженство блаженств,
свет небесный над чёрным пожарищем.

ЙЕТИ

Оставлены дома и города,
любовь, надежда, вера, всё на свете.
Как запросто мы ехали туда,
где можно забывать все вещи эти,
на всё и вся легко махнув рукой.
Мосты горели, плавилась ограда.
Сменив почтовый ящик на другой,
бывали мы достигнутому рады.
Есть новый дом, есть новые ключи,
глазок в дверях, небьющиеся окна,
захочешь переехать – не молчи,
кричи – опять сервиз на счастье кокну,
тот, старенький, на множество персон -
иных уж нет, а прочие – далече...
Ты – йети, дом в горах давно снесён,
и время опускается на плечи,
как будто прошлых лет нелёгкий груз...
Ключи на пальце, горький опыт стажа.
И каждый думал – после разберусь,
и каждый знал – беда одна и та же –
другой язык, другая карта звёзд,
но где же отыскать любовь другую?
Торгуешь тем, что *из* дому привёз,
а вот любовь... Я сю не торгую –
она, как я, лохмата и страшна,
ну что поделатъ, нравится такая.
И всё б тип-топ, когда бы не война,
и мы опять спешим, баул толкая
давно не знавшей обуви ногой,
к перронам, трапам, сходям, забывая,
что всяк переезжающий – изгой,
принявший птичью трель за трель трамвая,
забыв язык, в трёх соснах заплутав,
из библии запомнив – брат на брата...
Свисток – и отправляется состав,
и нет пути отверженным обратно.
Два йети, прислонясь плечом к плечу,
вдохнут – убийца Каин, мёртвый Авель...
А я ключи звенящие верчу
от всех домов, которые оставил.

ТАБУРЕТКА

И мебель больше не нужна,
лишь табуретка старая
стоит, как хмурая жена –
жена гуманитария.
Его ругавшая всегда
за лень и немочь бледную,
и речь её – одна вода,
но я ей вечно следую
в делах, писаниях моих,
с поджатыми коленями.
Мы так зовём себя самих –
беспомощными, бледными.
В себе лелея технарей,
работников, стяжателей.
А жёны пилят нас острее,
настойчивей и тщательней.
Любимые, пришла пора
о чём-то призадуматься,
ведь каждый был ещё вчера
и паинька, и умница.
И знал, зачем и чем живёт –
все ласковые, милые.
А тут скандал, грядёт развод
и девичья фамилия.
Вот кто бы знал, к чему придём,
что в жизни не заладится,
в груди любовь сидит гвоздём,
таланты – шилом в заднице.
Безденежье и неуют,
доведшие до кризиса,
но если счастье не куют,
оно на вас окрысится.
И жёны будут вечны грызть,
и мебель будет брошена.
Принцесса с именем «корысть»,
ей бедность, что горошина.
Не нужно спорить с ней, ни-ни,
а с женщиной – тем более.
Свою наивность сохрани,
перо, тетрадь, сенполию.
И табуретку из ольхи,
она всему предвестница.
Мальчишкой – чтоб читать стихи,
а взрослым – чтоб повеситься,
забыв про вечное – авось
на жизненной распутице...
Но то, что колет, словно гвоздь –
то вряд ли позабудется.